

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ

ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ НА ЗАСЕДАНИИ
ВОЕННОЙ КОМИССИИ СП 12 ИЮЛЯ 1943 г.

Публикация В. П. Нечаева

Товарищи, в «Вечерней Москве» было опубликовано сообщение о том, что я буду говорить о стихах, написанных советскими поэтами во время войны. Я не отважусь разговаривать на эту тему, так как не знаю кто что написал и потому что разговор на эту тему вести сейчас вообще не так просто. Я могу только сказать о том, как работалось мне и тем, с кем я более или менее близко соприкасался в каждодневной жизни.

Есть такое старое провинциальное адвокатское выражение: «Когда разговаривают пушки, музы молчат». Я уже во время финской войны почувствовал, что это глубоко ложно, а люди, которые знают историю нашей поэзии, ложность этой псевдоистины знали и раньше. В 1917—1921 гг., когда очень громко разговаривали пушки, музы, у которых не перехватило голос от страха или от слабости, или от каких-либо посторонних поэзии причин, разговаривали громким и чистым голосом. Ссылки я особенных делать не буду, сошлюсь только на несколько полярных в нашей советской поэзии имена Маяковского и Демьяна Бедного.

Эта война, по моему глубокому убеждению, застала очень многих из нас как бы врасплох. Люди существовали последние годы перед войной в таком убеждении, что всё на войне пойдет по расписанию, что война будет построена по принципу: коротким, но сильным ударом поразить противника, отбросить и опрокинуть его, драться на чужой территории. Война же на деле пошла по-другому. Первые, самые страшные удары получили мы. Бой мы приняли на своей территории. Свою территорию в первые годы войны отдавали неслыханными километрами, правда, сопротивляясь, правда, проливая большую кровь, свою и чужую. Война внесла в наши представления о своей природе решительную коррективу, которая потом определила, если хотите, судьбу литературы и судьбу поэтов наших.

Я на войне с 26 июня 1941 г. Мне было дано задание направляться на Западный фронт, примерно, в пределах Белосток — Барановичи. Я успел доехать только до Могилева. На второй день был в Орше, на третий — в Смоленске. 16 июля 1941 г. фронт перекинулся от Смоленска до Ярцева в 350 километрах от Москвы. Вот этой совокупностью географических названий определяется степень и характер наших чувств в первые два-три месяца войны. Тем, что нам пришлось драться на своей территории, тем, что нам пришлось пережить не предусмотренные кодексом наших довоенных представлений потрясения, — определяется строй стихов, который получил наиболее широкое распространение среди людей, попавших в армию с первого дня войны.

Пришлось первые два-три месяца войны, если не молчать, то отвечать

на побочные вопросы, которые ставила суровая, неумолимая действительность этих дней. Пришлось писать не те стихи, которые каждый для себя загадал, а писать или очерки, не свойственные поэтам, или такие вещи, какие мы в те времена писали: фельетоны о Грише Танкине — стихи, которые можно делать при абсолютно не подходящих для творческой работы условиях. И только тогда, когда выкристаллизовалось в сердце и сознании представление о том, как придется вести войну дальше, начали мы обретать настоящий голос для разговора об этой войне.

Я хочу остановить ваше внимание на этом переломе, потому что для многих людей в нашем Союзе писателей это определило и дальнейшую их судьбу, и дальнейший профиль их жизни.

Пришлось от очень многих вещей отказаться, хотя эти вещи до войны казались абсолютными.

Пришлось отказаться от представления о том, что везде, где мы пройдем, за нами следом идет победа. Пришлось отказаться от представления о том, что как только мы подняли руку, то удар, который мы нанесем, обязательно будет сокрушительным. Когда мы встали с глазу на глаз с противником, который двадцать с лишним лет назад разговаривал языком пушек со всей окружавшей его Европой, все эти представления подверглись суровой коррективе. И эту коррективу нам надо было не только *понять*, но и *почувствовать*.

И вот, исходя из этой переоценки, для меня лично и началась тема нынешней войны, главная, определяющая и, пожалуй, неизменная до того дня, когда последний выстрел смолкнет, — тема ненависти.

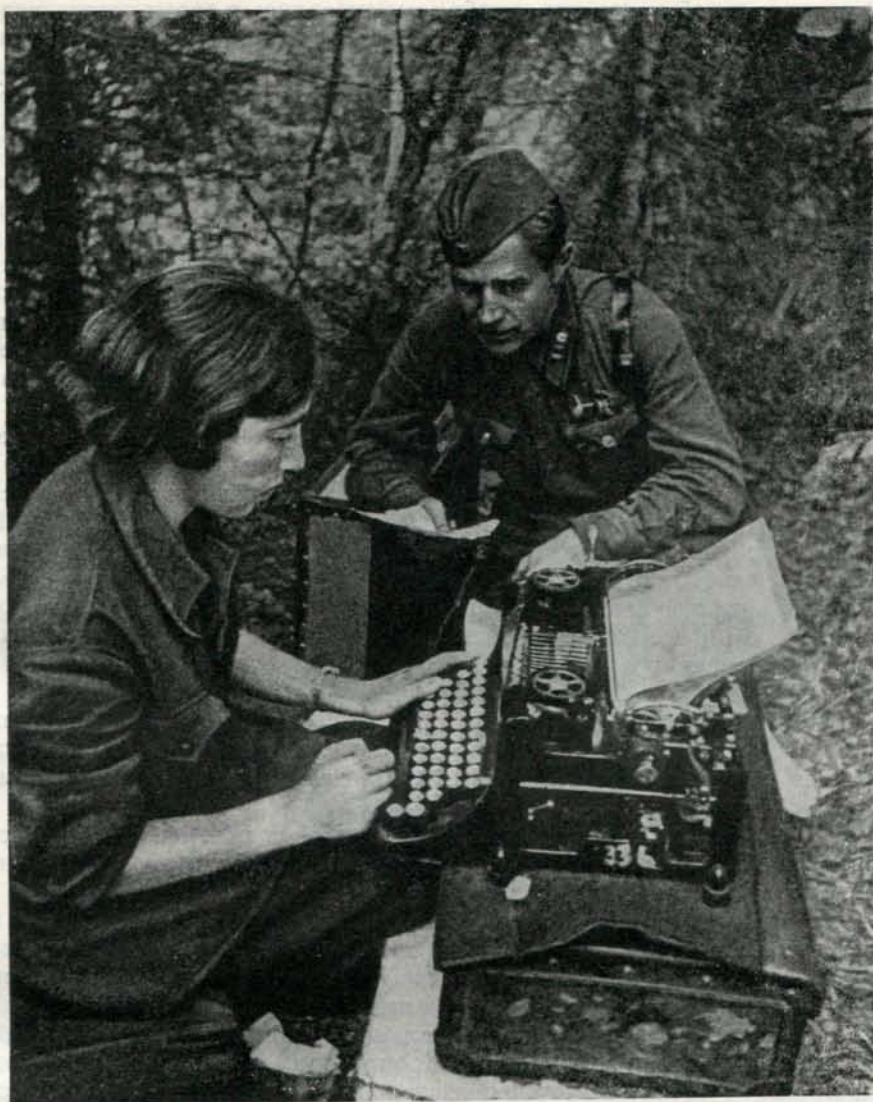
Я в начале июля 1941 г. написал в прозе (не то проза, не то стихи) первую вещь — «Клятва воина», с которой я исчисляю свое существование на этой войне. Здесь эта ненависть была высказана от первого лица человека, который пришел на эту войну и на полях битв увидел, с кем он имеет дело. Написал я ее потому, что это была основа моего самочувствия на войне и еще потому, что почувствовал, что люди, которым предстоит драться с хорошо организованным, внутренне собранным, идеально подготовленным для броска к победе противником, что эти люди могут тогда только найти в себе и силу сопротивления, и силу преодоления, когда почувствуют две вещи: что земля, с которой они уходят, — своя земля, и что отдавать эту землю врагу — нельзя, что деяния этих, без приглашения идущих с запада поработителей таковы, что нельзя наблюдать их равнодушно и на них можно отвечать только одним действием — отпором, возмездием.

Уже за первые полторы-две недели мы обнаружили на местности, в жизни, что люди, которые идут с запада, хотят нас поработить, что во имя этой «идеи» поработения огромной страны, за которой они не признают права на самостоятельное историческое существование, — совершают дела, не подходящие ни под какие нормы человеческих моральных кодексов.

Они считают, что с русскими можно поступать так, как нельзя поступить ни с кем другим из людей, живущих на земле; что русских беззащитных женщин и детей можно расстреливать из пулеметов на бреющем полете совершенно хладнокровно, как режут на бойне быков и баранов, как режут кур; с русскими можно поступать так, как поступают с надоедливими паразитами в человеческом быту.

Я это видел и в Могилеве, и в Орше, на Оршанско-Витебском шоссе, и в Рудне, где при мне «мессершмитты» бомбили и обстреливали четыре эшелона беженцев. Вот тогда я почувствовал ведущую тему этой войны: надо людям сказать, что без ненависти нельзя победить врага, пришедшего покорить, обезличить, растоптать.

Много пережили мы за первый год войны. Пережили первый этап отступления до Березины, второй этап отступления до Днепра, третий



А. А. СУРКОВ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ПРАВДА»

Фотография М. М. Калашникова. Западный фронт, 4 сентября 1941 г.

Собрание П. Д. Корзинкина, Москва

этап отступления до подмосковного рубежа — до Можайска, Волоколамска, до Клина. Пережили мы и четвертый этап отступления, когда, проезжая по Волоколамскому шоссе, я видел срезанные снарядами чугунные столбики остановки пригородной автобусной линии, когда из-за комбината «Правды» с Ямского поля стреляли прямо по расположению немецких войск наши тяжелые пушки.

Все это было не очень просто для людей, которые не считали себя посторонними зрителями в большой исторической драме, начавшейся в ночь с 21 на 22 июня 1941 г.

Все это отражалось на всем строе личности людей, переживших бедствия войны, и определяло их поведение — гражданское и литературное.

В начале второй половины октября мы оказались в своем поезде редакции газеты «Красноармейская правда» единственным осколком советской литературы, оставшимся на островке, называемом «Москва». Это было очень волнующе и необычайно. Кроме нас, в этот месяц-полтора никого не оказалось. Надо было разговаривать с защитниками Москвы и не просто разговаривать, а советовать людям, что сейчас им предстоит делать. И нам, литераторам, приходилось делать всё: писать и передовые во фронтовой газете, и фельетоны «Гриша Танкин» на тему о том, как драться с танками, как драться с парашютными десантами, которые практиковались в те времена, как драться в самых разных и самых пестрых условиях, при которых протекало немецкое наступление на Москву. И надо было одновременно с этим разговаривать, говорить, вкладывая в слова всю силу души, все свое существо, о том, что Москву отдавать немцам нельзя. Может быть, это было не в наших силах, может быть, это было не в наших творческих возможностях. Но кроме нас, литераторов редакции фронтовой газеты Западного фронта и окружавших эту редакцию армейских газет, никого тогда не было. Приходилось самим находить нужные условия работы, находить нужные слова, нужный камертон разговора, обращаясь к людям, которых прислала страна с Дальнего Востока, из Сибири, из Казахстана прикрывать свою столицу. Надо было разговаривать с этими людьми так, чтобы они тебя поняли, почувствовали свою ответственность за судьбы страны и ее столицы и в соответственно сложной обстановке организовали свое поведение перед лицом абсолютного численного превосходства немецких солдат и абсолютного превосходства немецких танков и самолетов, все ближе и ближе надвигающихся на Москву.

И характерно, что в те времена, когда в Москву ни приедешь, всегда в ней состояние воздушной тревоги. Причем «юнкерсы» и «хейнкели» идут на Москву с эскортом истребителей, прикрывающих их во время бомбежек.

Это было университетом нашей гражданской и поэтической зрелости. Это определило тональность того, что в те времена писалось и что писали и пишем мы до нынешнего дня войны.

С октября-ноября 1941 г. прошло уже больше полутора лет. За это время мы знаем горькие дни почти катастрофического отката в июле 1942 г. и радостные дни почти катастрофического для «третьей империи» зимнего отката за Курск и за Харьков немецких и союзных им армий. Но тот камертон, который определил тональность наших разговоров о войне за первые полтора года войны, который определил реалистическое отношение к происходящему, остается обязательным и поныне, если литератор хочет, чтобы люди его слушали.

Я тут хочу вспомнить, как я первый раз после начала войны, в сентябре месяце 1941 г. приехал в Москву и привез первый цикл стихов об этой войне. Они назывались «Я пою ненависть». Потому что на фронте было темно на душе и потому что в лесу некому было эти стихи читать, я кинулся в Москве на первых людей, которые попались под руку. Они завоевали здесь, в Союзе писателей, видное положение. Я прочел им 260—280 строчек стихов, которые я написал за первые месяцы войны.

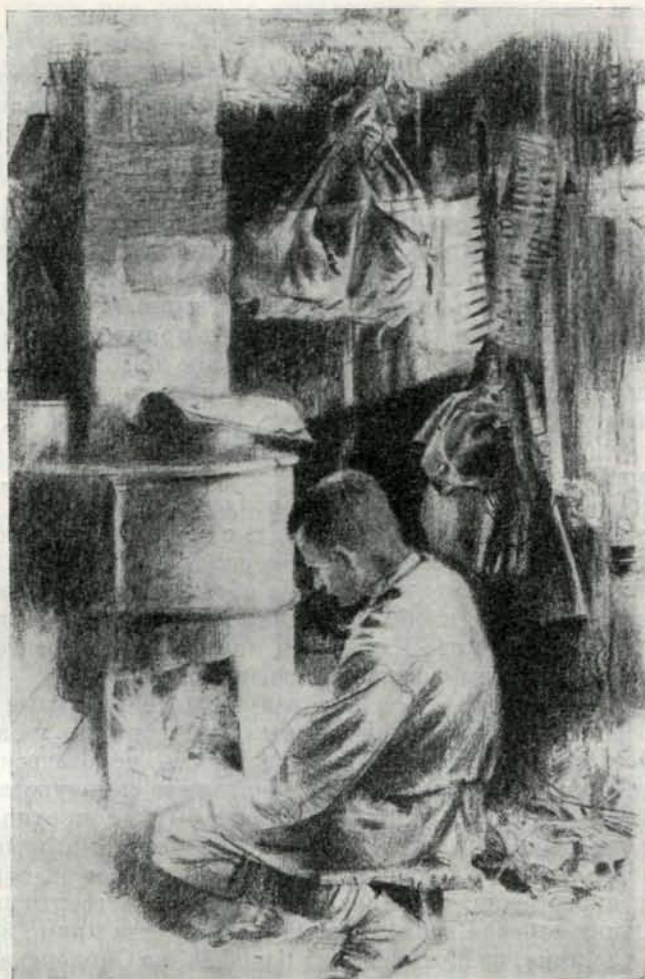
И они мне сказали: «Алеша, чего ты ноешь? К чему это?» И мне стало стыдно не за себя, а за них. Когда я сказал им: «Товарищи, так в жизни происходит: миллионы людей срываются с насиженных мест, угоняют на восток лошадей и коров, целые заводы десятками смещаются с постоянных незыблемых мест. Это же тяжко!..»

Они сказали мне: «А разве это нужно на войне? Когда такое страшное происходит, надо людей обрадовать словом». И они ободряли словом людей переднего края из Свердловска, Новосибирска и других городов, расположенных довольно далеко на восток от линии фронта.

«В ЗЕМЛЯНКЕ»

Рисунок В. С. Климашина
(итал. карандаш). Западный
фронт (Смоленское направле-
ние), 21 июля 1942 г.

Собрание В. Ф. Климашиной,
Москва



Я все это вспоминаю для того, чтобы утвердить основной выношенный, выстраданный тезис — война учила и научила определенную группу людей от литературы, попавших в армейскую, фронтовую печать, реалистическому отношению к событиям, реалистическому отношению к тому, что происходит каждый день там, где история делает свои основные шаги. Война научила нас говорить тогда, когда это нужно и когда это вызвано самим характером развивающейся борьбы, прямо и жестко.

До войны редко кто из нас мог себе представить, что людям, носящим на пилотке или на фуражке красную звезду, можно сказать, что не все они герои, что есть среди них трусы. Война научила нас тому, что людям, которые очень часто обливались кровью, своими жизнями загоразивая дорогу на восток, можно и должно прямо и в лоб говорить о старухах, женщинах, ребятишках, которые провожают их молчаливо, провожают их, уходящих на восток, скорбными и негодующими взглядами. Война научила нас реалистическому отношению к тому, что происходит в жизни, и тем открыла нам путь к сердцу читателя.

Я за время войны написал одну маленькую вещь, которая подверглась очень крупным неприятностям. Это шестнадцатистрочное стихотворение, которое сначала никак не называлось. Потом оно превратилось в песню под названием «В землянке». Там есть эти несчастные строки:

До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти — четыре шага.

«Синие чулки» начали вокруг этих строк целое дело. Они рассуждали так: очень близко до смерти — четыре шага; человек, который прочитает эти строки, перестанет быть упругим сердцем и волей, окажется плохим солдатом. И они предложили, чтобы эти строчки были заменены другими, глубоко оптимистическими строчками.

Из их пожеланий ничего не вышло. Разные варианты были написаны разными доброхотами, но песня осталась песней, потому что из песни слова не выкинешь и потому что на войне человеку тяжело и каждому ясно, как близка здесь смерть, и каждому, естественно, не хочется умирать. Но именно поэтому с людьми надо разговаривать прямо, по-солдатски, по-мужски. Человек, который читал: «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти — четыре шага», загрустит взглядом, загрустит сердцем, но этот человек не пойдет за куст, чтобы, взяв в левую руку комок снега, выстрелить сквозь этот снег, чтобы не было ожога и, таким образом, став «самострелом», избежать трибунала. Тот, кому адресованы эти строки, — человек настоящего сердца, человек настоящей солдатской воли.

Вот это право разговаривать с солдатом солдатским языком мы обрели, стоя близко от солдатского сердца. Война научила нас понимать состояние души миллионов людей в обстановке войны, когда человека, созданного для того, чтобы жить, ищет в каждую минуту на каждом метре пространства смерть. И на этом знании, если хотите, основывался контакт стиха и прозы с сердцем воюющего человека.

Громкие и общие слова задублиют барабанные перепонки. Барабанные перепонки со временем перестают реагировать на это постоянное трехтактное тра-та-та, выражающее видимость человеческих чувств (это у нас до войны иногда выдавалось за настоящее самочувствие). На войне пришлось даже тем людям, которые, может быть, сопротивлялись этому, исходить из потребностей живого сердца и человека, который воюет, и того, который сорван войной с насиженного места. А людей, сорванных войной с насиженного места, оказалось примерно три четверти населения нашей страны. Одних сорвала война с насиженного места прямо из Минска, из Гомеля, из Белостока, из Могилева, из Кричева, из Смоленска, из Вязьмы, из Ярцева. Других война срывала с насиженных мест из Тулы, из Москвы; третьих — из мест, которые в первом году войны казались тылом. Война заставила всех людей мыслить по-иному, чем они привыкли в мирное время.

И еще вот что.

Война потребовала от литераторов необычайной для мирного времени активности. Война потребовала от литераторов прямого входа в ее сферу, чтобы люди находили отклик на происходящее сегодня же или в ночь с сегодня на завтра. Произошло то же, что во времена гражданской войны и что тогда подтверждено опытом таких поэтов, как Маяковский и Д. Бедный.

Для многих наших товарищей это было нелегко, даже и для многих, сидящих здесь в зале. Послали их в армейские газеты. До войны они были критиками, исследователями литературы, прозаиками, которые писали по велению и движению своей неторопливой души.

Пришли литераторы на войну, и она потребовала от них: вот сегодня мы отступаем от Смоленска, где будет рубеж — неизвестно, но хотелось бы, чтобы это было подалее от Москвы. Хочешь ты или не хочешь, а нужно найти среди воюющих людей нужные характеры, нужные поступки и нужное поведение. И о всем этом сказать солдатам в завтрашнем номере газеты. Надо доходчиво, убедительно сказать отступающим, что надо остановиться, что надо верить в себя, надо пересилить страх перед «мессершмиттами», «юнкерсами», «хейнкелями» и дальше реки Днепр, или дальше реки Воль, или за Волгу не пустить немцев.

Первые годы войны учили нас быть с читателями искренними по сердцу, чтобы быть с читателями не очень многотумными и не очень тяжелодумными, чтобы читателю говорить то, что ему нужно сегодня, что для читателя сегодня необходимо с точки зрения его ненормального окопного существования, текучести читателей газеты.

Вот то самое главное, что мы вынесли как первый опыт с самого начала войны и что определило характер и профиль работы всех писателей и поэтов, бывших на войне.

Я так сейчас смотрю. Вот Василий Гроссман (если кто из вас читал его книгу «Народ бессмертен») написал книгу с неуклюжим прописным названием, но книгу ярко талантливую, честную и правдивую. Тот, кто знает, что такое война 1941—1943 гг., должен будет отметить, что для Василия Гроссмана эта война явилась средой, в которой интересный и своеобразный талант этого прозаика получил настоящее и благоприятное оплодотворение.

Я всё читал, что об этой войне написано, но более прямого и сурового, более благородного, чем то, что написано в этой небольшой повести «Народ бессмертен», я пока еще об этой войне не читал.

Написал Леонид Соболев серию своих рассказов. Леонид Соболев — человек, который умеет писать и может писать, умеет сюжет строить. Не всё мне в этой книжке нравится. В этой книжке больше от литературы, чем от жизни. Но и по этой книжке прошел живой ветер времени, и от этого никуда не уйдет. Потому что Леонид Соболев, в меньшей мере, чем Василий Гроссман, переживший «на местности» все этапы двухлетней нашей драки с немецким фашизмом, все-таки почувствовал это дело.

Если вы возьмете стихи Симонова, Долматовского, если вы возьмете стихи других наших фронтовых поэтов (пожалуй, больше стихи, чем прозу, потому что проза в армейских и фронтовых газетах более слабая), то вы увидите, что то, о чем я говорил в начале, определило характер и тональность их книг об этой войне. Более талантливые написали более ярко, менее способные написали не столь ярко, иногда даже плоскостно. Но война как-то определила реалистическое отношение всех к событиям. Война сама определила тон разговора и напряжение голоса.

За время войны написано много стихов, написаны сценарии, по которым поставлены кинокартины, написаны пьесы, поставленные на сценах наших театров, людьми, которые войны в первоисточнике не знали. И вот из того, что написано об этой войне из вторых рук, выделяется то немногое, что отмечено знаком настоящей творческой интуиции и таланта. Может быть, не абсолютно совершенная пьеса «Нашествие». Но писал ее взволнованный и талантливый человек. И какими-то чертами характера Талановых и других персонажей эта пьеса Леонова оказалась в некоторых случаях даже жизненней того, что писали с войны люди, не преодолевшие в себе инерции довоенного отношения к действительности.

Я не буду называть имен. Но здесь, в Москве, я два раза слышал выступления одного литератора, с первого же дня находящегося на войне: «С первого дня кочую от батальона к полку, от полка к дивизии, от дивизии к штабу армии...» И я заранее могу представить, что он обязательно приведет пример, в котором внешне грубый человек, с очень богатой натурой, под музыку пушек слушает музыку — Чайковского и Бетховена. Он, этот литератор, еще до войны составил себе такое представление о воюющем современнике. И несмотря на то, что жизнь упорно показывает, что на деле все бывает грубее, совсем не так, он до сих пор ходит с этими схемами и выдает их за подлинную жизнь.

Вот то основное, что мне хотелось сказать в сегодняшнем разговоре.

Критиковать товарищей я не могу и не хочу, потому что сам пишу хуже их, да и не всё я знаю. Что мы знаем о том, как пишут на войне Долматовский, Безыменский, Шведов? Что написали за время Отечествен-



«В РАБСТВО»

Картина Г. Г. Рязжского (масло), 1942—1943 годы

Областной художественный музей им. В. В. Верещагина, г. Николаев

ной войны десятки литераторов, так или иначе звучащих во всеююзной прессе?

Здесь, в Москве, течет своя жизнь. Здесь, в Москве, текут и изменяются прозаические и драматургические репутации. А в какой-нибудь редакции газеты Энского фронта или армии можно работать, начиная с июня 1941 г., пройти сквозь строй трагических испытаний, быть в окружении, в плену, выходить из плена, чтобы опять работать в газете, пережить прошлогоднее отступление, сталинградскую эпопею, наступление на запад и, исходя из принципа «дтиа не плачет, мать не разумеет», находясь в 500—600 километрах от Москвы, — жить очень замкнутой жизнью. И никто в столице не знает, как живет этот человек, никто не подскажет ему, что надо и что не надо делать.

Я год как ушел из фронтовой газеты, но за первый год моего существования на войне я знаю, до чего трудно выходить к большому читателю тому, кого судьба забросила не под Москву в район Малого Ярославца или Калуги, а куда-нибудь за Мценск или в район Краснодара. Очень трудно. Полевая почта работает неважно. Через вторые руки стихи доходят плохо. Если стихи не подкреплены живой энергией человека, их предлагающего, очень часто хорошие стихи висеают в воздухе, в то время как посредственные идут. Это первое.

Второе. Я представляю себе положение моих товарищей, работающих во фронтовых и армейских газетах, — Долматовского, Безыменского, Светлова, Матусовского и многих других. Это очень сложная и очень трудная судьба. Живут люди в одной комнате по 12 человек, и от этих 12 человек ни днем, ни ночью никуда не уйдешь. Круглые сутки тут суматоха: один только что вернулся с фронта и начинает рассказывать тебе что-то; другой ходит по комнате, разыскивая потерянный блокнот; третий вообще болтун, всем мешает, гудит. В такой обстановке остаться самому с собой, остаться с глазу на глаз со своим сердцем и со своей совестью — очень трудно. А люди, которые пишут, знают: обязательно надо иногда остаться самому с собой, чтобы не мешали ни внешние условия, ни люди. Вот из-за этого, мне кажется, у нас поэзия об этой войне обеднена по меньшей мере процентов на пятьдесят.

Людям, которые за эти два года впитали своей памятью, своим зрением, своим слухом нескончаемую вереницу трагических картин внешнего мира, надо дать возможность, отключившись на время от газетной «текучки», привести в порядок свои ощущения и свою память.

Я не выступал на эту тему на оборонном заседании, которое недавно было, потому что однажды не успел заикнуться, как на меня набросились. Но ведь, по совести говоря, люди теряют квалификацию, и у людей, которые излишне много видели, не имея возможности все запомнить и все записать, эта перегрузка убивает возможность подлинной реакции на виденное. И если люди, жившие в Ташкенте, в Чистополе, в Новосибирске и Фрунзе, страдают от недостатка живых представлений о войне, есть большая группа людей, которые страдают от слишком большой перегрузки ощущений и физического видения того, что на войне происходит. Вот это надо как-то уравновесить. Это надо как-то регламентировать, потому что пройдет война и эти люди придут с фронта, а им скажут: «Вы — неврастеники!»

А ведь у них перед глазами мельтешит всё — и беженцы, и лошади, и гурты скота, и собаки, объевшиеся человечиною, и волки, которые ходят по трупам, и разбитые дома, и разбитые заборы, и музеи, в которых по картинам ходили и топтали полотна коваными каблуками, — всё это у них смешивается, и они потерялись в этом чудовищном потоке живых впечатлений. Получается взаимно непропорциональное распределение возможностей.

Это мне тоже очень хотелось сказать для того, чтобы как-то сохранить живое ощущение войны на будущее. Ведь, по чести сказать, не каждому дается такое высокопроизводительное, правда, трудное счастье — быть соучастником таких событий, как сегодняшняя наша война.

И последнее, что я хочу сказать, — о читателе. На войне, может быть, как никогда в другое время, упрощаются и уточняются отношения между пишущим и читающим человеком. Если я, числящийся поэтом или литератором красноармейской газеты, приеду в 61 стрелковую дивизию, и меня спросят, кто я таков, старший батальонный комиссар Сурков, — значит мне грош цена. На войне отношения складываются так, что или люди тебя признают за нужного себе человека и запоминают твою фамилию и приглашают тебя по ротной бедности и по полковому богатству в удачно отрытый блиндаж перекусить и выпить стопку водки с ними, или ты ничего на войне не сделал. Если в штабе фронта тебя не знают, этим не нужно смущаться: они не всегда читают свои газеты. Но ежели ты пришел в полк, или в батальон, или в роту, и тебя там не знают, — подумай! Стихи на войне очень читаются, и стихи, которые ты пишешь и которые запомнились, надолго врезаются в память воюющих людей. В первом году войны редко можно было встретить на фронте человека, которому бы не попался в руки энный номер газеты «Правда», где было напечатано стихотворение

«Жди меня». Самые правдивые рецензии, которые литераторы получают от читателей, во время войны особенно, — это те самые газетные вырезки, которые лежат в левом боковом кармане гимнастерки человека, идущего сегодня в бой. Если тебе стихи понравились, ты их не только запомнишь, но вырежешь и спрячешь в самое сокровенное место. Таких стихов у нас немного и не всегда они блещут абсолютным совершенством форм, но они всегда являются выразителями подспудных ощущений человека, встречающего и сегодня и завтра смерть.

А человек, стоящий перед лицом смерти, — человек требовательный и неподкупный.

И вот, примерно, по таким рецензиям мы живем за эти два года войны. Я не знаю, что будет после войны, но пока что такие рецензии являются основным коррективом нашего существования в литературе.

Если мне какой-то товарищ из какой-то части прислал письмо, где сказано, что коммунист Снегин из такой-то роты был на днях убит и из кармана его гимнастерки выпал партийный билет и из него вывалился кушочек газетной бумаги, залитый кровью, и на этом кусочке бумаги оказалось напечатанное такое-то стихотворение такого-то автора, — вот это для человека, работающего на войну, является, пожалуй, самой решающей и самой существенной рецензией.

Я в августе месяце 1942 г. приехал в порядке очередной командировки под Ржев. Тогда мы под Ржевом наступали. В двух с половиной километрах от переднего края наших войск, на развилке дорог, стоял столб. На столбе была огромная фанера, и на этом огромном фанерном щите были написаны четыре строки из стихов одного из наших советских поэтов, напечатанных три дня тому назад в газете «Красная звезда». Уже на этом щите были следы от минных осколков и пулевые следы. И когда я на этот щит посмотрел (мне об этих стихах в Москве говорили, что у них несовершенная рифма, что у них нет равновесия между первой и второй частью, что в них слишком много повторяется слово «убей»), когда я посмотрел на этот щит, я решил для себя: хорошо бы, если бы эти четыре строчки были мои.

У нас все работают на суд истории, а история — штука хитрая. История неизвестно что выберет. И мне кажется, что история выберет не то, что мы иногда производили механически. Например, «Певец во стане русских воинов» Жуковского — вещь довольно посредственная, хотя сейчас она используется и хорошо принимается, а в историю войны 1812 года более заметно вошли написанные значительно позже стихи Михаила Юрьевича Лермонтова — «Бородино». Тут очень трудно попасть в точку. Но главным критерием остается все-таки то, чтобы войти в человеческое сердце так, чтобы это человеческое сердце приняло тебя, и воюющий современник слова, сказанные тобой, запомнил крепко и навсегда.

Простите мне мой не совсем организованный разговор. Очень трудно говорить. Жизнь течет. Жизнь каждый день готовит людям такие сюрпризы, которых никак не предполагаешь. И когда сейчас ходят люди и кричат, почему нет романа, подобного «Войне и миру», на этих людей смотришь и думаешь: откуда вы сорвались такие умные и такие скороспешные?

Большая и сложная вещь та война, которую мы ведем. Я как-то написал стихотворение, навеянное представлением о будущем:

Когда умолкнут пулеметы,
 Настанет мир в миру честном,
 Артиллерийские налеты
 Покажутся далеким сном.
 И слушая рассказ солдата,
 Раскрыв от удивленья рот,
 Тайком подумают ребята:
 «Вот старичина!

Лихо врет!»

«НИ ШАГУ НАЗАД!»

Листовка со стихами А. А. Суркова.
Издание Главного Политуправления
Красной Армии, 1942

Музей Революции СССР, Москва

Смерть немецким оккупантам!**НИ ШАГУ НАЗАД!**

Опять на восток, как иazole было
Немецкие поджила врут напролом,
Пехота идет, по дорогам пыли,
Под танками стонет донская земля,
В станицах и селах расправы и плач,
Над пеплом пожарищ догует палач
Порушена хата и вырублен сад

К ОРУЖЬЮ, ТОВАРИЩ!

НИ ШАГУ НАЗАД!

Затем ли ты в поле трудился с утра,
Чтоб твой урожай собрал немчура?
Затем ли ты строил дома и дворцы,
Чтоб их разрушали теперь подлый?

Я не жалею, что написал эти стихи. Думаю, что так и будет.

Наша сегодняшняя война — такая необычная и по характеру своему такая не похожая на всё, что было раньше, что трудно как-то для себя самого на сегодня вывести какой-то постулат поведения, определить рамки — отсюда и досюда. И тем более трудно это сказать для людей, которые не совсем близко знают войну.

На войне бывают и страшные и странные вещи. На этой войне в Сталинграде, например, люди воевали не за поле боя, а за две комнаты в доме, разрушенном почти до основания. И вот они захватывают эти две комнаты. Внизу под ними немцы, наверху над ними тоже немцы. Они сидят там неделю-полторы и борются с немцами, сидящими внизу и наверху. Они прогрызают дыру в стене, отделяющей пол или потолок над ними или под ними, и пускают сквозь нее струю огнемета. Такого не было ни при Вердене, ни при других крупных событиях прошлой войны. А когда наступает тишина, немцы кричат им: «Русские, что вам давали на завтрак?» И русские им говорят: «Пошли вы туда-то. Нам давали на завтрак кашу с американским беконом. А вам что?» И фрицы молчат, потому что им на завтрак не хватило конских копыт.

Многие вещи не сразу ложатся в стихи. Есть, например, поэтическая тема в моих записях. Дон. Излучина, примерно, в восемь километров длиной, в четырех-пяти километрах от Богучара. Мы должны сосредоточить для планируемого прорыва огромное количество танков, артиллерии и «катюш», так как тут итальянцы и немцы сильны орудиями. Голая степь кругом. Как всё сделать незаметно? Люди выдумывают и исподволь запускают громкоговорящую установку. Сначала она орет о том, что Муссолини подлец. Постепенно в разговоры о том, что Муссолини подлец, включивается вальс Штрауса, неаполитанские песенки и другое, что заклю-

чается в радиофицированном патефоне. Огромная установка, покрывающая 15 километров своим ором. И когда итальянцы и немцы привыкли к тому, что эта установка гудит с 5 часов вечера, когда становится темно, до 9 часов утра, когда светает, под звуки вальса «Голубой Дунай» происходит подтягивание к переднему краю танковых корпусов и артиллерийских полков РГК* и т. д. и т. п. Занятный сюжет?

Бывают и такие вещи. После прорыва на среднем Дону возвращались мы из Гадючьего в Верхний Мамон на грузовике. В степи в буране подсадил я двух раненых парней, затерявшихся в степи. Заклекли ребята. Я их отогрел под полушубком, дал хлебнуть из фляжки. И один из них, отойдя сердцем, говорит: «Говарищ командир, нас третьего дня послали разведать вот тут невдалеке, вот за этим „Тихим Доном“ (селением) итальянские огневые точки. Мы подползли к итальянским окопам. Прислушались. Они поют, и до того хорошо поют, как в церкви. (Итальянцы, действительно, поют хорошо.) Мы лежали на снегу и слушали, как они поют. Одну песню спели, другую поют, другую спели — третью. Поют до того хорошо — вставать не хочется. Потом мы лежали, лежали, ноги стало прихватывать, и рассвет близко. Нам сержант говорит: всего не переслушаешь, пора эту волынку кончать, давай гранаты бросать! Мы взяли гранаты и бросили. Вот ведь какая петрушка бывает!»

Есть огромное количество таких проявлений человека, которых нельзя придумать, которые нельзя интуитивно постичь. Их надо смотреть в жизни, их надо, как говорится, схватить на местности. И вот эти вещи у нас часто из-за того, что не хватает времени остаться самому с собой, сторают и уходят без следа. Если память емкая, ничего, если же память не емкая, то уходит и пропадает, потому что очень уж всего этого много.

Сейчас я вспомнил, что на реке Вазузе 21 июля 1941 г. я встретил колхозников из Монастырщинского района Белорусской ССР, которые гнали гурт коров, и в этом гурте был огромный бык-симменгал, экспонат Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. За гуртом шло штук 400 овец. Коровы через Вазузу перешли, а овцы не хотят идти в реку.

Немцы недалеко. Слышно, как стреляет артиллерия, гудят их танки. И вот тогда сопровождавшие гурт пастухи берут старших баранов на руки и входят с ними в быструю речку Вазузу, несут баранов, как библейские пастухи, а за ними вслед тянется все стадо.

Таких эпизодов, рассыпанных по полям войны, охватившей около ста миллионов людей, — огромное множество. Они составляют живую фактуру войны, и их не придумаешь ни в Москве, ни в Чистополе, ни в Ташкенте, и даже в политотделе фронта, не стесняя себя выездами в части.

Великое счастье армейских литераторов в том, что им пришлось хватить шилом патоки наравне с солдатами. У них появились такие же, как у солдата, чувства — хорошие и плохие, горькие и сладкие, они уже не напишут, когда солдату приходится очень трудно, фальшивых, словесных, болтливых стихов «Давай, вперед, за родину!» и т. д., потому что теперь об этом нужно говорить другими, может быть, более грубыми и, может быть, более страшными честными словами. Я на всю свою жизнь чувствую себя в неоплатном долгу у Красной Армии, которая приняла меня с первых дней войны в свои ряды, доверила работу в газете.

Когда ты попадаешь, как винтик, в большой механизм войны, хочешь ты или не хочешь, ты совершаешь те движения, которые война загадывает.

Я вижу картину далекого теперь 1939 года. Сидим мы в окружении в северо-финской тайге. Ни радио, ни телефонной, ни телеграфной связи с тылом нет. Мы среди непрекращающихся налетов боремся за место около стола, находящегося в распоряжении четырех штабов, для того чтобы написать очередной очерк, стихи. Безрадостны наши перспективы, но

* Резерв Ставки Верховного Главнокомандования.

лейтенант Рачинский, молодой начальник штаба артполка, каждый день в 8 часов вечера, несмотря на то, что никакого подвоза снарядов нет и не предвидится в ближайшее время, никакого продовольствия нет и едят лошадей, тощих, как смертный грех, — несмотря на все это, садится за стол, отодвигает других и пишет очередную сводку в штаб армии, сводку, которая из-за окружения не попадет по назначению. Он пишет в своей сводке: «За сей день патронов израсходовано столько-то. Людей убито столько-то, раненых столько-то, пропавших без вести столько. Из конского состава осталось столько-то, из материальной части: столько-то фугасных, столько-то шрапнельных. На завтра требуется столько-то таких-то» и т. д. И он при этом ясно сознает, что «завтра» может не состояться.

Машина армии такова, что она не знает положения, при котором «завтра» не может быть. Для машины армии «завтра» определено, оно должно быть, без «завтра» нет жизни. И это позволило нам в самые страшные дни боев под Москвой, в дни драпа из-под Харькова на Сталинград не терять бойцовского самолюбия. Армия знала, что где-то мы остановимся и где-то мы встанем насмерть, не пропустим.

Чтобы это самочувствие было, надо армию знать близко, стоять около ее сердца. Армия есть выражение характера народа — и хорошего и худого. Иногда кажется, что народ твой на пятьдесят процентов каторжник и на пятьдесят процентов святой. Всякое может показаться в трудные минуты! Но этот самый народ, не взирая ни на что, держит, воюет и мешаает властно карты Гитлера. В силу такого строя народного характера все люди, которые в армии провели самую трудную полосу войны, не заболели лишаем пессимизма, лишаем утраты перспективы. Никто из нас не впал в панику ни летом и осенью 1941, ни летом 1942 года. Никто из нас не изучал английский язык по пути из Ташкента в Самарканд, никто из нас не собирался из Кабула путешествовать в Дели или в другой из городов Индии и ассимилироваться в новом обществе, потому что мы знали, что Россия была, есть и будет. По России многие топтались. Никто Россию не разбил, а Россия перервала глотку таким, по сравнению с которыми Адольф Иванович Гитлер маловат ростом и жидковат голосом.

Вот это ощущение не покидало нас с самого начала до самого конца. И люди иногда грубо, иногда и бесталанно (бывало и так), но все время на этот камертон настраивали голоса. И это позволяло нам говорить нашим солдатам: «Как тебе не стыдно бежать?» Мы знали, что эти люди бегут до Сталинграда, а потом упрутся и дальше не пустят. Он до Ярцева дошел — уперся, до Можайска дошел — уперся, а потом от Волоколамска до Черных Грязей (под самой Москвой эти Черные Грязи) шел, теряя на каждом метре, может быть, по одному человеку. Они отступали, волынили, крутили. Ставка все время кричала Рокоссовскому, Говорову, другим, что надо держаться. И они держались, а потом подсадили немцев так, что те ушли за Калинин и Калугу.

Тут есть какой-то интим, которого словами не выскажешь. Этот интим, который нам дала война, он обязательно есть. И за это люди, которых послали в армию в начале войны, будут благодарны тем, которые их послали, до последнего дня своей жизни. Если у них хватит таланта, они напишут «Войну и мир». Если у них не хватит таланта, но хватит наблюдательности и гражданской честности, они напишут такие записки, по которым историк восстановит полную правдивую реалистическую картину происходящего. И спасибо им за это. Мы, исходя из этого минимального расчета, и работали.

Печатается по стенограмме (ЦГАЛИ, ф. 631, оп. 16, ед. хр. 132, лл. 1—16об.). Текст отчета просмотрен автором, внесшим в него несколько стилистических исправлений.